

РЕТРО-ДЕТЕКТИВ
**ДВОЕ НА
СНИМКЕ**



Надежда Чародейская

Санкт-Петербург. 1884

Надежда Чародейская

Двое на снимке

«Автор»

2026

Чародейская Н.

Двое на снимке / Н. Чародейская — «Автор», 2026

Санкт-Петербург, весна 1884 года. Среди газетных объявлений о пропавших болонках фотограф Вересов находит строку поинтереснее: продаётся карточка, где один и тот же господин вышел дважды. Он покупает её — и видит, что это не монтаж и не двойная экспозиция: в дверях ателье, за спиной чинного семейства, стоял живой человек, похожий на хозяина до неразличимости. Вскоре выясняется, что двойник не только позирует на карточках. Он учитывает векселя в банке, проигрывает деньги в клубе и заверяет дарственные — с лицом, голосом и подписью владельца зеркального завода Черепанова. Город уже шепчется, что зеркальщик «сам не свой». Вересов, который не верит ни в призраков, ни в проклятия, берётся за дело — и след приводит его не в зеркала, а в тридцатилетнюю семейную тайну: брошенная женщина, украденные деньги и сын, которого считали мёртвым. Ретро-детектив в духе Акунина и Чижова о том, что свет двоит не призраков, а людей, — и о фотографе, который проявляет не только негативы, но и правду.

© Чародейская Н., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог	5
Глава первая. Карточка с двумя господами	9
Глава вторая. Человек, который был везде	15
Глава третья. Долги чужого лица	21
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Надежда Чародейская

Двое на снимке

Пролог

Началось это всё, как начинаются самые весёлые истории, — с серебряной свадьбы и с семейного портрета, на который никто не хотел сниматься.

В конце апреля восемьдесят четвёртого года Григорий Саввич Черепанов, владелец зеркального завода на Обводном канале, купец первой гильдии и человек, про которого в городе говорили, что он «из крепостных, а зеркала его висят даже во дворце», — так вот, Григорий Саввич справлял двадцать пять лет законного брака. Справлял, как и всё в своей жизни, основательно: к обеду съехалась вся родня, к чаю подали слоёный пирог величиной с банный таз, а на третий день, как полагается по купеческому обычаю, постановлено было сняться всем семейством «для потомства».

Фотографироваться Черепанов не любил. Был он человеком того особенного, тяжёлого склада, при котором человек перед аппаратом деревенеет, как недосушенная доска: лицо у него на снимках выходило либо испуганным, либо таким, будто он только что проиграл тяжбу, — хотя в жизни Григорий Саввич тяжб не проигрывал, а выигрывал, и охотно, и не без удовольствия. Но двадцать пять лет — срок, против которого не попрёшь, и Анфиса Петровна, жена, сказала своё слово, а слово жены в доме Черепановых, как все знали, было не последнее слово, а первое, и единственное.

Сниматься поехали на Литейный, в ателье Роберта Карловича Лемке — из тех заведений, где над дверью золочёными буквами выведено «Светопись», а внутри пахнет так, как пахнет только в порядочной фотографии: коллодием, лаком и лёгким, едва уловимым страхом заказчика перед стеклянным глазом.

Ехали, как ездят на семейные съёмки все купеческие дома: шумно, в две кареты, с горничной, которая везла в узелке запасные галстуки, с тёткой, которая всю дорогу крестила каждый фонарный столб ради, и с самим Григорием Саввичем, который сидел в первой карете мрачнее тучи и всю дорогу повторял, что «сниматься — это баловство, а в нашем деле главное — товар, а не морда». Анфиса Петровна на это только вздыхала и поправляла ему воротник; Оленька, прильнув к окну, считала вывески; а Лука Терентьевич, ехавший во второй карете, вместе с женихом и с тёткой, всю дорогу молчал и глядел куда-то в спину дядюшкиной карете, и лицо у него было такое, какое бывает у человека, который что-то прикидывает в уме — долго, обстоятельно, по-купчески. Впрочем, этого тогда, разумеется, не заметил никто: в каретах, как и в домах, все смотрят вперёд, а не друг на друга.

В тот день, надо сказать, в ателье было людно. На пасхальной неделе город снимался как помешанный: гимназисты — для матерей, невесты — для женихов, чиновники — для повышения, и у Лемке с утра до вечера не затихала очередь.

Черепановым, впрочем, ждать не пришлось: Лемке сам вышел навстречу, узнав купеческую карету, и повёл всё семейство в съёмочную, мимо бархатных кресел, в которых, как нахохленные вороны, сидели ожидавшие своей очереди заказчики. Шли чинно, гуськом, по скрипучей половице: впереди Анфиса Петровна, за нею Оленька с женихом, позади — Григорий Саввич, тяжело ступавший так, будто шёл не сниматься, а снимать допрос. И покуда Лемке, суется, зажигал лампы и выкатывал из угла аппарат на треноге, укрытый до поры чёрным сукном, — в съёмочной мало-помалу закипела та особая, предсъёмочная возня, какая бывает только перед семейным портретом: кто-то одёргивал сюртук, кто-то перекалывал брошь, кто-то шёпотом ссорился из-за места. И среди всей этой возни один человек был недвижим и тих,

как вещь. Племянник Лука Терентьевич. Он стоял у окна, смотрел не на аппарат и не на родню, а куда-то в угол, где темнела приотворённая дверь, — и по лицу его, если бы кто-нибудь удосужился в него всмотреться, блуждала тень человека, который очень долго ждал этого дня и боится теперь, что всё сорвётся. Черепановы приехали к пяти, всем скопом: сам Григорий Саввич в новом сюртуке цвета воронова крыла, Анфиса Петровна в лиловом шёлке и бриллиантах, дочь Оленька с женихом своим, инженером Бергом, и племянник Лука Терентьевич, при часах, при задумчивости и при том особом, услужливом выражении лица, какое бывает у людей, которые двадцать лет живут при чужом деле и всё ждут, когда оно наконец станет ихним.

Рассаживали долго. Лемке, старичок с седыми бакенбардами и с тем неуловимо-немецким произношением, какое остаётся у человека, родившегося в Дерпте и прожившего полвека на Литейном, хлопотал вокруг аппарата, как насадка: свет не тот, рука не так, извольте, сударыня, подбородок выше, а вы, молодой человек, не шурьтесь, вы не на солнце. Наконец всех усадили: в центре, в кресле, сам Григорий Саввич, по левую руку жена, по правую дочь с женихом, позади, почти в тени, — племянник Лука.

Луку, надо сказать, посадили позади всех не случайно: он и сам, со своей всегдашней услугой, отступил в тень, — дескать, «где ж мне, при дядюшкином-то торжестве, вперёд лезть». И в этом его смиренном отступлении, если бы знать тогда то, что знают теперь, была вся суть: человек, которому предстояло через месяц распорядиться этим домом, уже тогда стоял в нём не у дверей, а за спинами, — там, где, как известно, удобнее всего не попадать в кадр. И то, что на карточке он вышел в тени, размытым, едва различимым, — а тот, второй, у двери, вышел, напротив, ясно, как на парадном портрете, — было, пожалуй, самой точной приметой этого семейства: настоящие Черепановы всегда лезли на свет, а Лука всегда прятался в тень. Только тень его, как потом выяснилось, умела выходить из дверей и ходить по городу. И, когда все замерли, а Лемке нырнул под чёрное сукно, — в ту самую секунду, за спинами у них, в полутьме у приотворённой двери, что вела из приёмной в съёмочную, встал человек.

Никто его не видел. Никто не обернулся. Все смотрели в объектив — туда, куда велел фотограф, — а в съёмочной комнате, как и во всякой съёмочной комнате, свет падал только на тех, кто сидел перед аппаратом; углы тонули в темноте, как тонут в ней невысказанные слова. Человек у двери постоял с полминуты, не шевелясь, — а потом так же неслышно, как вошёл, отступил назад, в тень, и дверь за ним притворилась.

Лемке щёлкнул затвором.

А потом началось то, что бывает на всякой семейной съёмке и что Вересов, узнав об этом после, восстановил по рассказам до последней мелочи. Все разом зашевелились, ожили, заговорили, как заводят разом остановленные часы; Анфиса Петровна поправляла платье и корила дочь за то, что та «глядела не в аппарат, а в сторону»; Оленька оправдывалась, жених её, инженер Берг, торопил всех, потому что у него в семь был какой-то обед; Лука Терентьевич, поднявшись из-за спин, услужливо подал тётке уроненный ридикюль, и Лемке, вынырнув из-под сукна, ещё раз попросил всех «не расходиться, а вдруг пластина не вышла». Никто, словом, не смотрел на дверь. А если бы и смотрел — то дверь эта, как и всякая дверь, стояла притворённой, и за ней уже никого не было. Вот ведь что занятно, думал потом Вересов: человек, из-за которого перевернётся целый дом, вошёл в эту съёмочную и вышел из неё тише, чем входят в дом сквозняки, — а след оставил такой, какого не оставляет иной, нашумевший на весь город.

— Готово-с, — сказал он, выныривая из-под сукна. — Через неделю, господа, прощу.

Через неделю карточки принесли на дом. И вот тут, доложу я вам, началось то, чего не объяснит ни один зеркальный завод.

Карточек было дюжина, все одинаковые, все на плотной бумаге с тёплым тоном, и на всех — семейство Черепановых в полном составе, чинное, довольное, как и подобает семейству, прожившему вместе четверть века.

Принёс их, как водится, мальчишка от Лемке — в плоском картонном пакете, перевязанном бечёвкой, — и, получив на чай пятак, долго кланялся и всё норовил заглянуть в гостиную, где уже, по его словам, «барыня карточки раздают». Дворня, прослышав про «портрет», потянулась в людскую и к дверям гостиной, как тянется она ко всякому хозяйскому торжеству: всякому любопытно, как вышли господа, кто на карточке вышел «как живой», а кто «не в свою пользу». И потому, когда Анфиса Петровна, вынув карточки из пакета, раздала их по рукам, — в гостиной, кроме самих Черепановых, толклись и горничная Матрёна, и кухарка, и даже, заглядывая из прихожей, сам дворник, от которого пахло воротами и талым снегом. И никто из них, глядя на чинное семейство в креслах, не заметил бы беды, если бы не Матрёна. А Матрёна, как на грех, глядела в самый угол карточки. Анфиса Петровна, раздавая карточки по рукам, уже приговаривала, что «вышли мы, слава богу, все как есть», и Оленька смеялась, что жених у неё на карточке «как живой генерал», — и никто сперва ничего не заметил.

Заметила горничная.

Горничную звали Матрёной, и была она из тех деревенских девок, что до смерти боятся всего, чего не понимают, а не понимают они, как известно, всего, что не лошадь и не корова. Увидев на карточке второго барина, она сперва выпучила глаза, потом, по обычаю, поплевала через левое плечо, а потом, осмелев, ткнула пальцем в фигуру у двери и зашептала, бледнея: «Это ж, барыня, не к добру! Это ж, значит, душа у Григория Саввича раздвоилась — одна в кресле сидит, а другая уж по дому ходит! Вот и ходит он, сказывают, по ночам сам не свой...» Анфиса Петровна на неё прикрикнула, велела замолчать и держать язык за зубами, но было поздно: слово не воробей, и к вечеру вся дворня уже знала, что у хозяина «душа на портрете раздвоилась», а к ночи это знал и дворник, и кучер, и, надо полагать, половина Обводного канала.

— Барыня, — сказала она вдруг, побледнев и глядя на карточку так, будто та её укусила, — а Григорий-то Саввич... он же у нас на портрете два раза вышел.

Сначала не поверили. Потом, глянув, — затихли все разом.

На карточке, в глубине, у самой двери, вполоборота, стоял человек. Тёмный сюртук, цепочка поперёк жилета, тяжёлая голова с коротко стриженными седеющими висками. То же лицо. Те же глаза. Та же усмешка, чуть кривоватая, точно человек этот только что проиграл тяжбу, — а тяжб он, как известно, не проигрывал.

Григорий Саввич Черепанов стоял на карточке дважды. Один раз — в кресле, где и сидел. И второй раз — в дверях, за спиной у собственной жены, глядя в объектив ровно так, как глядел бы человек, который пришёл посмотреть, как его снимают.

Анфиса Петровна ахнула и перекрестилась. Оленька вскрикнула и выронила карточку. Жених её, инженер Берг, человек положительный и до спиритизма неохотливый, перевернул карточку, осмотрел оборот, поднёс к лампе и только хмыкнул. А сам Григорий Саввич долго, молча, смотрел на человека в дверях — на себя, — и по тому, как побелели у него костяшки пальцев, сжимавших карточку, видно было, что человек этот, в сюртуке и с цепочкой, ему не знаком.

Ночь эту он, сказывала потом Матрёна, не спал. Ходил по кабинету в халате, зажигал лампу, гасил, снова зажигал, всё подносил карточку к огню и вглядывался в неё, как вглядываются в долг, о котором не помнишь, а платить надобно. И чудилось ему, будто человек в дверях всякий раз стоит чуть иначе: то ближе, то дальше, то будто усмехается. А ведь это, думал Вересов, и есть самое страшное в такой карточке: она не врёт и не пугает, она — дразнит. Говорит человеку: вот ты, а вот — тоже ты, и который из вас настоящий, не знает теперь никто. И к утру Григорий Саввич, человек, всю жизнь считавший, что в его доме от него не спрятаться ни одной щели, впервые понял, что спрятаться от него можно было — и спрятались. И то, что он при этом не закричал, не разбудил дом и не позвал дворню, а молча убрал карточку в стол, —

это-то и сказало о нём всё: такой человек будет носить свою беду в себе до последнего, пока беда сама не выйдет к нему навстречу.

Один только Лука Терентьевич, племянник, стоял в стороне, у окна, и лицо у него было такое, какое бывает у человека, который очень старается выглядеть испуганным, а на самом деле изо всех сил прячет усмешку.

Но этого в тот вечер не заметил никто. Потому что все смотрели на карточку.

Глава первая. Карточка с двумя господами

Объявление попало Вересову на глаза в конце апреля, в сырой, серый вторник, — и, как всё, что меняет жизнь, выглядело оно до обидного буднично.

Напечатано оно было мелким шрифтом, на последней странице «Листка», среди объявлений о продаже роялей, о потерянной болонке и о том, что «отличная кухарка ищет место без чертей». Вересов, человек, который по утрам читал газеты с конца — «потому что в конце печатают самое интересное», — дошёл бы до него в свой черёд и без всякого случая. Но случай, как водится, подоспел раньше, в лице Лизы Каптелевой, ворвавшейся в ателье с газетой наперевес.

Лиза Каптелева была из тех бойких девиц, каких в каждом петербургском доме по одной: дочь переплётчика из соседней лавки, охотница до всякой новости, до всякого скандала и до всякого дела, от которого пахнет «жутким».

Была она невысока, круглолица, с двумя тёмными косицами, вечно выбивавшимися из-под платка, и с тем непобедимым, птичьим любопытством ко всему на свете, какое бывает только у людей, выросших за прилавком: там, за прилавком, всякая новость идёт в товар, и человек поневоле выучивается спрашивать раньше, чем думать. Отец её, переплётчик Каптелев, человек тихий и богобоязненный, давно махнул на дочь рукой: «Она у меня, — говорил он, — не в лавке родилась, а в газете. Ей бы не переплётты, а передовицы писать». Лиза и впрямь читала всё, что попадалось под руку, и запоминала так, что Макар, сам человек памятный, только диву давался: «Эта барышня, барин, — цельный полицейский архив на двух ногах. Только с бантами». А Вересов, при всей своей любви к тишине, Лизу гонять не гонял — и не только потому, что она таскала ему газеты. А потому, что за её трескотнёй, как за проявителем, иной раз проступало то, чего сам он в газете и не разглядел бы. В ателье к Вересову она забегала не реже, чем к обедне, и всякий раз — с газетой, потому что «Сергей Ильич у нас сыщик, ему без газеты нельзя». Макар, слуга, говаривал про неё, что «эта барышня, барин, скорее всех вас в полицейские попадала бы, кабы им не юбки», — и, надо признать, был недалёк от истины.

Утро это в ателье на Загородном стояло из тех, какие Вересов любил больше всего: тихое, серое, пахнущее мокрой мостовой и проявителем. За окном, внизу, уже громыхали ломовики, и в приёмной, ещё пустой, косо падал из окна утренний свет, от которого на полу лежали длинные, бледные, как недодержанные снимки, прямоугольники. Вересов, в холщовом переднике, с закатанными рукавами, возился в тёмной комнате — переснимал для одного заказчика старый дагерротип, с которого, как это часто бывает, ушло лицо, и осталась одна смутная тень, — и работа эта, тихая, требующая терпения и света, настраивала его на тот особый, медленный лад, в котором он всегда начинал новое дело. Макар, ворочавшийся за стеной, уже дважды принимался греметь посудой, намекая, что самовар, мол, готов, — но Вересов не торопился: он давно выучил, что в тишине, пока город ещё не проснулся, лучше всего думается. А подумав ему в то утро, хоть он о том ещё не знал, предстояло о многом.

— Сергей Ильич! — закричала Лиза с порога, размахивая газетой так, что лист хлопал, как подбитая ворона. — Вы гляньте, что продают! Карточку продают! Где человек два раза вышел! Это ж надо — два раза!

— Тише ты, Лизавета, — поморщился Вересов, не поднимая головы от ванночки. — У меня, ежели хочешь знать, негатив в проявителе. Один человек, а уже два раза переспросил.

Работа, над которой он сидел в то утро, была из тех, что Вересов называл «упрямыми»: заказчик, старый чиновник в отставке, принёс единственный портрет покойной жены и просил «снять с него копию, да так, чтобы лицо-то вышло ясное, а то оно у неё на карточке всё в тени». А лицо на той карточке, как нарочно, и впрямь ушло в тень — то ли от времени, то ли от неумелого фотографа, — и Вересов, колдуя над ванночкой, уже второй час вытягивал

из серебристой мути то, чего на пластине почти и не было: скулу, бровь, уголок рта. Он умел это, как умеют немногие: не выдумывать то, чего нет, а проявлять то, что спряталось. И Лиза, влетевшая со своей газетой, ворвалась в самую середину этой тихой, сосредоточенной работы, от которой, знал Вересов, зависит, выйдет ли у старика покойница «ясная» или так и останется тенью. Потому-то он и не оборачивался: негатив, как и правда, не любит, когда его торопят.

— Да вы только гляньте! — не унималась Лиза. — «Продаётся карточка. Групповой портрет неизвестного семейства, снятый в ателье на Литейном. Карточка замечательна тем, что на ней одно и то же лицо вышло дважды». Ну не жуть ли?

Вересов, не отвечая, вынул негатив из ванночки, поднёс к красному фонарю, прищурился, потом бережно опустил его в фиксаж и только тогда, вытерев руки, обернулся. Лиза уже совала ему газету под самый нос, и он, усмехнувшись, взял её и прочёл объявление. Прочёл раз, другой, третий.

Читал он газеты, надо сказать, не так, как читают их люди обыкновенные — с передовицы, — а всегда с конца, и не из чудачества, а по многолетней привычке человека, который выучил: самое важное прячется именно там, где его никто не ищет. Передовицы, говорил он, пишут для начальства, а последние страницы — для сыщиков. И с этой своей привычкой он уж сколько лет как примирился: подписчик из него был, правда, неисправный — газеты ему приносила Лиза, а случалось, и сам Макар выменивал их у дворника за починенные калоши, — но зато уж последнюю страницу Вересов выучивал наизусть прежде, чем разворачивал первую. Объявления о «продаётся» и «утеряно», о «кухарке без чертей» и о «рояле с беккеровской фабрики» складывались у него в голове в ту особую, пеструю летопись города, по которой он, шутя, предсказывал и моды, и беды, и даже, случалось, чьи-нибудь похороны.

Бывало, впрочем, что эта его странная наука приносила и прямую пользу. Раз, помнится, пропал у одной купчихи бриллиантовый фермуар, и вся полиция сбилась с ног, а Вересов, прочтя в «Листке» объявление о продаже «перстенька с камнем, доставшегося от покойной бабушки, по случаю отъезда», — по одному слову «по случаю» и вычислил, где искать. Ибо настоящая бабушкина вещь, говаривал он, не продаётся «по случаю»: она либо продаётся от нужды, либо не продаётся вовсе. И, надо сказать, вычислил верно: перстеньёк оказался в ломбарде, а «отъезжающий» — в участке. С тех пор Макар, человек до газет равнодушный, но к бариновой науке почтительный, всякое утро первым делом клал ему на стол последнюю страницу «Листка» — и приговаривал: «Читайте, барин. Там нынче, глядишь, опять чей-нибудь „случай“ напечатан». И, как на грех, — именно там, на последней странице, среди роялей и болонок, Вересов в то апрельское утро и вычитал то, с чего всё началось. И потому, прочтя объявление про карточку, он не удивился и не ахнул. Он только медленно, как бы пробуя мысль на вкус, повторил её про себя: «одно и то же лицо вышло дважды» — и почувствовал то знакомое, давно забытое за зиму шевеление, какое бывает у охотника, когда в кустах, совсем рядом, хрустнула ветка.

— Ну? — не выдержала Лиза. — Что вы про это скажете?

— А то и скажу, — медленно проговорил Вересов, откидывая со лба упавшую прядь тем самым привычным движением, за которое Макар звал его «барином с гребнем», — что одному и тому же лицу на одной карточке выходить дважды не с чего. Лицо — не горошина, чтобы ему двоиться. А вот двум людям на одно лицо — это, Лизавета, бывает. И, что любопытнее, — неспроста.

Он помолчал, глядя на газету, потом аккуратно сложил её и сунул в карман.

Макар, слуга его, в это время возился за стеной — и, судя по звукам, натирал латунь на большом павильонном аппарате, том самом, что стоял в приёмной, как стоит в парадных сенях выездной экипаж: не для каждодневной езды, а для виду и для важных выездов. Был Макар человеком при Вересове не первый год, а до того — при прежнем хозяине, фотографe же, и потому в ателье чувствовал себя как рыба в воде: и пластины перезарядит, и коллодий

процедит, и с заказчиками поговорит с той степенной важностью, какая у петербургских слуг бывает нарочно выработана, чтобы их самих не приняли за просителей. Голос у него был низкий, неторопливый, и говорил он, как любил подшучивать Вересов, «с расстановкой, будто печатал на бумаге», — но уж если говорил, то всегда к месту. Вересов, впрочем, ценил его не за разговоры, а за другое, чему и сам когда-то учился годами: Макар умел молчать так, что и тишина при нём становилась полезной. И сейчас, начищая латунь, он, не оборачиваясь, слышал весь разговор с Лизой — и уже знал, что вечер у них нынче пропадёт. Потому что барин, когда вот так, не торопясь, складывает газету и суёт её в карман, — значит, дело завертелось.

— Макар! — крикнул он. — Шубу.

— Куда ж вы? — всполошилась Лиза. — На ночь-то глядя?

— На Литейный, — отвечал Вересов, уже накидывая шубу. — Покупать карточку. Пока её не купил кто-нибудь менее любопытный. А ты, Лизавета, ступай домой, к отцу, и скажи ему, что у него дочь — золото, только вот громкости в ней на две типографии. — И, заметив, что Лиза надулась, прибавил мягче: — За газету спасибо. С тебя, глядишь, и начнётся у нас с тобой восьмое.

Объявление, как выяснилось, давал не кто иной, как сам хозяин ателье на Литейном, Роберт Карлович Лемке. И замысел его был прост до гениальности:

Ехать с Загородного на Литейный было недалеко, но Вересов по дороге всё успел: и припомнить, что слышал про Лемке, — а слышал он про него то, что старик держит ателье ещё с сороковых годов, снимал, кажется, самого Государя покойного ещё наследником, а нынче живёт тихо, без вывески на весь город, и берёт дорого, зато «на совесть»; и прикинуть, сколько такие карточки ходят по рукам, — а ходят они, знал он, по рукам охотников до всякой чертовщины, и за хорошую «двойную» дают, случается, больше, чем за хороший портрет; и ещё раз про себя перечитать объявление, в котором его, Вересова, цепляло не «лицо вышло дважды», а другое, маленькое, будто ненароком оброненное слово: «неизвестного семейства». Вот это «неизвестного» и не давало ему покоя. Лемке, фотограф с сорокалетним стажем, не мог не знать, кого снимал к серебряной свадьбе. А раз пишет «неизвестного» — значит, то ли боится назвать, то ли семейство просило не называть, то ли, что вернее всего, сам не понимает, с чем столкнулся, и замечает следы на всякий случай. Всё это, впрочем, было ещё гаданьем, а гадать Вересов не любил: он любил смотреть. И потому, расплатившись с извозчиком у знакомой двери с золочёной надписью «Светопись», он на секунду задержался на пороге, вдохнул знакомый с детства запах коллодия и лака — и только потом, поправив шляпу, вошёл. Карточку эту, «двойную», у него не раз просили продать за большие деньги — кому для курьёза, кому для домашнего спиритизма, — и Лемке, человек в делах немецки-основательный, рассудил, что коли вещь пошла в цене, то и продать её надобно с торгов, а не из-под полы. Оттого и объявление.

Вересов застал его в ателье, уже при лампах: старичок сидел в приёмной, среди бархатных кресел и гипсовых амуров, и, постукивая по столику футляром от пенсне, просматривал какую-то книгу в потёртом переплёте.

Ателье у Лемке было из тех старых петербургских заведений, где время как будто останавливалось вместе с последним снятым здесь дагерротипом. В приёмной, по углам, стояли гипсовые амур и Венеры, чуть облупленные, но зато смотревшие на посетителя с той заученной, пыльной грацией, какая бывает только у вещей, слишком долго простоявших под чужими взглядами; на стенах, в золочёных рамах, висели карточки прежних лет — генералы с эполемами, купчихи с брошками, гимназисты с непокорными вихрами, — и все они глядели на входящего разом, так что у человека, впервые сюда попавшего, возникало неловкое чувство, будто он вошёл не в ателье, а в чью-то чужую, чересчур многолюдную память. Пахло здесь, как и положено, коллодием и лаком, но к этому привычному запаху примешивался ещё и другой, неуловимый, какофейный — запах старого холостяцкого жилья, где хозяин и ночует тут же, за

ширмой, на продавленном диване. Вересов, оглядевшись, отметил и это, и многое другое — он вообще умел читать помещение, как читают лицо, — и понял: Лемке не богат, но тщеславен, не зол, но пуглив, и карточку свою «двойную» продаёт не столько ради денег, сколько ради того, чтобы о нём хоть раз заговорил весь город. А такие люди, знал он, — самые словоохотливые свидетели: им только дай слушателя. Увидев гостя в этот поздний час, он сперва нахмурился, но, узнав, зачем тот пришёл, оживился и повёл его в заднюю комнату, где в ящике письменного стола, переложённая папиросной бумагой, лежала та самая карточка.

Задняя комната, куда Лемке повёл гостя, была разом и лабораторией, и кабинетом, и музеем его сорокалетней славы: вдоль стен, на полках, теснились бутылки с коллодием и ящики с пластинами, в углу, под чёрным колпаком, спал аппарат, а над конторкой, приколотые булавами, висели карточки прежних лет — все те же генералы, купчихи и гимназисты, только здесь, в задней комнате, они глядели со стен уже не чинно, а как-то по-домашнему, будто знали про хозяина то, чего не знали в приёмной. И оттого, что карточки висели так, вперемешку с деловыми расписками и засохшими ветками сирени, Вересов, человек, сам проживший среди снимков полжизни, сразу почувствовал себя тут не гостем, а своим: такие комнаты, знал он, бывают только у мастеров, для которых ремесло давно уже не ремесло, а единственный способ не сойти с ума от людей. Лемке, пошарив в ящике письменного стола, извлёк плоский конверт, долго, близоруко щурясь, разглаживал его на столе, — и по тому, как дрожали у старика пальцы, когда он вынимал карточку, Вересов понял: вещь эту он и бережёт, и боится. Как берегут и боятся всё, что однажды не получилось объяснить.

Вересов взял карточку, подошёл к лампе и долго, не торопясь, разглядывал её. Лемке, стоя рядом, переминался с ноги на ногу и всё заглядывал ему в лицо, точно ожидая, что гость ахнет. Но Вересов не ахал. Он смотрел так, как смотрит мастер на работу другого мастера: без восторга, зато с тем особенным, цепким вниманием, от которого, знал он по себе, у людей делается не по себе.

Разглядывал он карточку долго, как разглядывают документ, и по порядку, не пропуская ни одной мелочи: сперва — общее, композицию, свет; потом — лица, по одному, как пересчитывают монеты; потом — фон, дверь, косяк, полоску света на полу. И чем дольше он смотрел, тем больше убеждался, что карточка эта снята не гением и не шарлатаном, а просто честным, крепким ремесленником, каким был Лемке: всё в ней стояло по местам, всё было выверено до скуки, — и оттого-то человек в дверях, вломившийся в эту выверенность, глядел с неё особенно дерзко. Будто сама судьба, подумал Вересов, снялась в тот день вместе с семейством — и не удержалась, заглянула в кадр. Он отложил карточку, снял пенсне, протёр его и снова надел. Нет, всё так: тень от человека падала на косяк по-настоящему, свет на сюртуке лежал плотно, без прозрачности. Это был не след и не двойная экспозиция. Это был человек, стоявший в дверях в тот самый миг, когда Лемке нырнул под сукно. И человек этот, судя по тому, как спокойно он стоял, — знал, что его снимают.

На карточке и впрямь было на что посмотреть. В центре, в кресле, сидело семейство — чинное, довольное, в парадном. А в глубине, у самой двери, вполоборота, стоял человек — и человек этот был до того похож на главу семейства, сидевшего в кресле, что у всякого, глянувшего на карточку разом, начинали двоиться в глазах: тот же сюртук, та же цепочка, то же лицо, та же чуть кривоватая усмешка.

— Ну-с, что скажете? — не выдержал наконец Лемке. — Двойная экспозиция? Пластина, может, старая была, след от прошлой съёмки? Я уж и так и эдак прикидывал...

И пошёл, и пошёл — перечислять все те объяснения, какие сорок лет фотографического ремесла подсказывают человеку в первую минуту: и что пластина, доска, была «из плохой партии, с пятном»; и что лак лёг неровно; и что, может, это и не человек вовсе, а отражение в зеркале, стоявшем у двери. Последнее Вересов, не удержавшись, прервал: «Отражение, Роберт Карлович, не бывает плотным. Оно, как и совесть у иных людей, — прозрачное. А тут —

гляньте сами: сюртук чёрный, цепочка блестит, тень на косяке. Это, батюшка, не отражение. Это, батюшка, господин, который пришёл на съёмку без приглашения». Лемке, слушая, всё бледнел и крутил пенсне, и Вересов, глядя на него, невольно подумал: сорок лет человек снимал людей — и за все сорок лет так и не понял, что самое интересное в человеке всегда происходит не перед аппаратом, а за его спиной. Потому-то он, Вересов, и вглядывался теперь не в лица, а в дверь.

— Не двойная экспозиция, — отрезал Вересов, не поднимая глаз. — И не старый след.

— Отчего же вы так уверены? — обиделся Лемке.

— А оттого, — Вересов поднёс карточку ближе к свету, — что при двойной экспозиции второй человек выходит сквозным. Просвечивает. А этот, — он указал мизинцем на фигуру в дверях, — плотный, как вы сами. Смотрите: сюртук у него чёрный, не прозрачный, и тень от него ложится на косяк по-настоящему. Это не след на стекле. Это живой человек, стоявший в дверях и ждавший, пока его снимут.

Лемке побледнел.

— Позвольте... — начал он. — Но я же всех по местам рассаживал! Никого в дверях не было! Кто же это мог быть?

— Вот это, Роберт Карлович, — сказал Вересов, откладывая карточку и берясь за лупу, — нам с вами и предстоит узнать. Для начала — скажите мне, кто это семейство. И почему, ежели у них на свадебной карточке вышел покойник, они до сих пор не потребовали с вас объяснений.

Лемке замялся, покрутил пенсне, потом, понизив голос, как понижают его, когда говорят о неудобных заказчиках, признался:

— Семейство это — Черепановы. Григорий Саввич Черепанов, зеркальный завод на Обводном. Снимались у меня к серебряной свадьбе, недели три назад. И... — он запнулся, — не покойник это, сударь. Это сам Григорий Саввич. Он на карточке два раза вышел. Один раз в кресле, другой раз в дверях. Живой человек дважды.

Сказал он это и сам испугался собственных слов — Вересов видел, как старик, произнеся «живой человек дважды», машинально оглянулся на дверь, будто ждал, что оттуда кто-нибудь войдёт и подтвердит. И в этом его испуге, в этом быстром, птичьим повороте головы, было для Вересова не меньше улики, чем в самой карточке: Лемке, человек, сорок лет имевший дело со светом и тенью, до сих пор не мог поверить, что снял нечто, чего его ремесло не объясняет. А люди, знал Вересов, пугаются не самого чуда — пугаются того, что чудо не влезает в их привычные правила. И именно поэтому, подумал он, берясь за лупу, все эти три недели Лемке не спал: не потому, что карточка жуткая, а потому, что она — неправильная. А неправильное, как и непроявленное, имеет свойство не давать покоя.

Вересов, державший в руке лупу, медленно поднял на него глаза.

— Живой, говорите, — повторил он. — Дважды. Ну, Роберт Карлович, — он усмехнулся, и усмешка у него вышла та самая, нехорошая, предвкушающая, — это уже не курьёз. Это, батюшка, работа. И, сдаётся мне, работа большая.

Он заплатил за карточку, не торгуясь, бережно убрал её в плоский конверт и уже в дверях, обернувшись, спросил так, между прочим:

Заплатил он, к слову, куда больше, чем такие карточки ходят даже у самых жадных собирателей, — и Лемке, принимая деньги, даже смутился, что с ним, по всему виду, случилось нечасто: всё заглядывал гостю в лицо, всё прикидывал, не продешевил ли. А Вересову было не до торга: он понимал, что держит в руках не карточку, а ключ — от целой чужой истории, которая без этого ключа так и осталась бы лежать в ящике письменного стола, среди папиросной бумаги, пугая одного только старика Лемке. И ещё он понимал, что история эта, судя по всему, только начинается, — а за хорошую историю, как и за хорошую пластину, не жалко и переплатить. Пусть, думал он, убирая карточку, — пусть это дело обойдётся мне втрое. Зато

и выйдет на ней, глядишь, не одно лицо, а целых два. А таких снимков, знал он, ни за какие деньги не купишь — их только самому и проявлять.

— А скажите-ка, Роберт Карлович, — в тот день, когда снимались Черепановы, у вас в приёмной, часом, никого постороннего не было? Кто-нибудь, кто без записи, просто так, посидеть-поглядеть?

Лемке задумался, припоминая, и вдруг хлопнул себя по лбу:

— А ведь был! Был один! Господин в тёмном, всё у окна стоял, будто ждал кого-то. Я ещё подумал: не по погоде одет, в апреле-то. Сюртук на нём был... — он осёкся и побелел так, что Вересов даже посторонился. — Сюртук на нём был точь-в-точь как у Григория Саввича. Я ещё подумал: вот, мол, до чего мода одинаковая.

Вересов ничего не ответил. Он только поправил шарф, взялся за шляпу и вышел на Литейный, где в мокрых апрельских сумерках, отражаясь в лужах, уже зажигались первые фонари — по одному, по одному, как проявляется на бумаге карточка: сперва смутно, потом всё вернее.

— Макар, — сказал он, усаживаясь в сани, — а ведь бывает же так, что у человека нет брата, а двойник у него есть. — И, помолчав, прибавил: — Поехали на Обводный. Только не к заводу. Сперва — поглядим на дом, где живёт человек, который вышел на снимке дважды.

И сани, скрипнув, тронулись, унося его в ту часть города, где зеркала делают, а отражения, выходит, не всегда говорят правду.

Глава вторая. Человек, который был везде

Дом Черепановых стоял у самого завода, на Обводном, и был под стать хозяину: приземистый, каменный, с окнами, глядевшими на канал так, будто всё никак не могли решить, что в этом канале хуже — вода или воздух.

Обводный канал в эти весенние дни был особенно нехорош: серый, тяжёлый, он нёс мимо завода всякий сброд — щепу, рогожи, чьи-то размокшие афиши — и пах так, что прохожие на набережной невольно убыстряли шаг. Зато сам завод Черепанова, тянувшийся вдоль канала добрых полверсты, пахнул иначе — наждаком, скипидаром и тем острым, металлическим запахом серебряной амальгамы, от которого у непривычного человека першит в горле. Вересов, проезжая вдоль его стен, прислушивался: за высокими, до половины забеленными окнами цехов стоял ровный, непрерывный гул, и сквозь него, как сквозь вату, пробивалось тонкое, протяжное пение — это алмазы, посаженные в медные державки, резали стекло. Он вспомнил, как в детстве его водили смотреть на зеркальное серебрение, и как мастер, старик с чёрными от амальгамы пальцами, сказал ему тогда: «Зеркало, парень, — это честная вещь. Оно тебе не врёт, потому что врёт в нём только тот, кто в него смотрится». И, глядя теперь на эти глухие стены, за которыми делали отражения на продажу, Вересов подумал, что старик был прав лишь наполовину: зеркало не врёт, но и не говорит. А молчание, как известно, — лучшая подпись под чужим обманом. Вокруг тянулся высокий забор с чугунными воротами, а за воротами, во дворе, виселись штабеля ящиков с надписью «Осторожно. Зеркало», и в каждом ящике, знал Вересов, лежало по куску собранного серебра, которое в других домах называют честным стеклом, а здесь называли хлебом.

Дом он велел объехать сперва кругом, по набережной, и сани его, поскрипывая, шли шагом, покуда он, высунувшись из-под полости, разглядывал особняк так, как разглядывают не дом, а лицо. Дом был из тех, что строили лет сорок назад, в николаевскую ещё пору: приземистый, широкий, с полукруглыми окнами бельэтажа, с чугунными решётками на подъездах и с тем выражением упрямой, неразговорчивой добротности, какое бывает у людей, вышедших из крепостных и не забывающих об этом ни на минуту. Слева к дому лепилась контора, справа, за каменным забором, начинались заводские корпуса, и весь этот строй — дом, контора, завод — стоял вдоль канала одной сплошной, тёмной, деловитой стеной, на которой, казалось, и свет-то ложился неохотно. Лишь в одном окне бельэтажа, за занавеской, горел огонь, да в двух окнах верхнего этажа, где жила прислуга, теплились лампадки. Вересов всё это отметил и запомнил, сам не зная ещё, зачем: в таком доме, подумал он, и тайны водятся не по-господски, а по-хозяйски — на замке, на засове и на трезвом, купеческом молчании. И чем дольше он смотрел, тем яснее ему становилось, что человек, решивший на этом доме нагреть руки, должен был либо родиться в нём, либо годами к нему примериваться. Потому что чужому сюда и до крыльца не дойти — дворня у таких хозяев злее цепных собак.

Ворота отворил дворник, взглянул на Вересова исподлобья, как глядят на всякого чужого, — и, узнав, что барин к хозяину по делу о карточке, повёл его не в дом, а в контору, пристроенную к заводской стене.

Макар, оставшийся в санях, глядел барину вслед и, по собственному его выражению, «всё ждал, что хозяина из ворот вынесут». Завод Черепанова на всю округу слыл местом, куда постороннему и соваться не след: рабочие там были из своих, крепостных ещё, выученных, — чужака примечали сразу, как примечают в стекле постороннюю пылинку. И оттого Макар, человек, привыкший оберегать барина, сидел в санях нахохлившись, готовый в любую минуту «кинуться, ежели что». Но Вересов шёл через двор спокойно, как идут люди, которым нечего прятать, — и в этом его спокойствии, в этой неспешной, ровной походке было то, что всегда, как он знал по опыту, действует на всякую дворню вернее всякой бумаги: к человеку, который

не боится, и относится без злобы, а то и с любопытством. Так вышло и нынче: покуда он шёл, из-за ящиков, из-за штабелей, из приотворённых дверей цеха на него глядели — но не враждебно, а с тем особенным, быстрым интересом, с каким глядят на человека, пришедшего к хозяину в неурочный час. Будто весь завод уже чуял: этот — по той самой, карточной, беде.

Дворник, впрочем, вёл его нехотя и всю дорогу ворчал, что «ходите тут всякие, а у меня за воротами, почитай, три подводы непересчитанных».

Ворчание это, впрочем, было из тех, что говорят не столько для ушей, сколько для порядку: дворник, мужик кряжистый, в тулупе и с бляхой, вёл гостя споро и, видать, сам был не прочь отвлечься от своих подвод. Вересов, шагая за ним, по привычке расспрашивал — про хозяина, про завод, про то, «не было ли у вас, братец, на той неделе гостей незваных», — но дворник на расспросы отвечал уклончиво, как отвечают люди, которым велено про хозяйское помалкивать. И только одно, уже у самой конторы, обронил, понизив голос: «А вы, барин, коли по той карточке пришли, — так вы уж поосторожнее. У нас на той неделе сам хозяин, гляди, сам не свой ходит. Я его у ворот встретил в четверг — а он на меня и не глянул. Не узнал, стало быть. А я у него, почитай, пятнадцать лет служу». Вересов на это ничего не ответил, только кивнул, а про себя отметил: четверг. Тот самый четверг, когда «Черепанов» учитывал вексель в банке. Выходит, двойник за эти недели побывал и здесь, у ворот, — а дворник, глядевший на него в упор, так ничего и не понял. Двор у завода был как двор у всякого зажиточного дела: просторный, мощёный, с коновязью у стены, с поленницей в углу и с той особой, деловой прибранностью, по которой сразу видно, что здесь не господа балуются, а товар дышит. По двору сновали рабочие в фартуках, перекатывали ящики с зеркалами, и в каждом ящике, когда его перехватывали вкось, что-то тонко и тревожно позванивало, как звякает подо льдом весенняя вода. Вересов, шагая за дворником, невольно прислушивался к этому звону и думал: до чего же, однако, хрупкая штука — зеркало, и до чего же крепкая — та цена, которую за него дают. И то, и другое, впрочем, бьётся. Только одно — от удара, а другое — от жадности.

В конторе пахло сургучом, дегтярным мылом для смазки станков и тем особенным, насторожённым запахом, какой стоит в местах, где считают деньги.

Покуда Вересова вели по конторе, он по привычке отмечал всё, что попадалось на глаза, — а попадалось немного, и всё, как на подбор, казённое, без лица: стены, крашенные до половины масляной краской; полка с образцами зеркального стекла, на которой, как соглядатаи, блестели маленькие, в ладонь, зеркала; да в углу, под потолком, тёмный лик Спаса с лампадой, глядевший на счётные книги с той усталой суровостью, с какой глядят на всякую человеческую арифметику. Народу в конторе было немного, но народ этот, в нарукавниках и с перьями за ухом, весь как один повернулся к вошедшему — и тут же, как по команде, уткнулся в свои книги: у Черепановых, видно, гостей, приходящих не по подрядам, не жаловали и встречали молчанием, как встречают молчанием всё, чего не понимают. И Вересов, проходя мимо этих склонённых затылков, невольно усмехнулся про себя: вот она, подумал он, цена чужой беды, — полконторы уже знает, что у хозяина «двойник», и полконторы молчит, потому что место кормит, а любопытство, как известно, кормит плохо. А между тем именно здесь, среди этих книг и этих затылков, и должен был проходить тот, второй, — и прошёл, и никто, кроме припадавшего на ногу Сёмки, не посмел даже засомневаться. Сам Григорий Саввич принял Вересова не в кабинете, а в малой приёмной, у круглого стола с графином, — и, признаться, принял так, как принимают нежданного кредитора: стоя, не подавая руки, и глядя на гостя с той тяжёлой, исподлобной вежливостью, за которой угадывалось одно желание — чтобы гость поскорее ушёл.

— Чем обязан, сударь? — спросил он. — Ежели по подрядам, так приём у меня по вторникам, у конторы.

— Я не по подрядам, Григорий Саввич, — отвечал Вересов, кладя на стол плоский конверт. — Я по карточкам. Купил давеча у Лемке на Литейном одну занятную вещицу. Говорят,

она из вашего семейства. — И, не сводя с хозяина глаз, он вынул из конверта карточку и положил её на сукно, лицевой стороной вверх.

Черепанов глянул на карточку — и Вересов, двадцать лет читавший по лицам, как по книгам, увидел, как по лицу у него пробежала тень: не страх, не гнев, а та особенная, купеческая настороженность человека, который вдруг понял, что от чужого глаза не спрятался. Но держался он крепко.

Держался он, впрочем, так, как держатся люди, привыкшие, что всякий приходит к ним либо за деньгами, либо с претензией, — а тут пришёл человек с карточкой, и карточка эта была не бумага, а вопрос. И вопрос этот Черепанов, по всему видать, уже слышал — не от Вересова, а от самого себя, всякий раз, когда оставался один. Вересов, глядя на него, отметил и то, как хозяин, взяв карточку в руки, не стал её разглядывать, а положил на стол, будто боялся, что она его укусит; и то, как он, разговаривая, то и дело косил глазом на неё, как косят на человека, которого пришлось выпустить в дом, а выпроводить нельзя. И ещё одно, совсем уже неуловимое, уловил Вересов: когда Черепанов, помолчав, заговорил про вексель и про клуб, голос у него был ровный, а вот пальцы, лежавшие на сукне, медленно, безотчётно сжимались и разжимались, — как сжимаются пальцы человека, который не знает, кричать ему или молиться.

— Купили, значит, — проговорил он, не глядя на Вересова. — А я-то думал, Лемке её в стол спрятал. Всё хотел выкупить, да руки не дошли. — Он помолчал. — И что же вы в ней, сударь, углядели такого, что пришли ко мне с Обводного на Литейный?

— А углядел я, — Вересов сел без приглашения, — то же, что и вы, когда в первый раз на неё глянули. Что вы на ней — дважды. И что второй вы, у двери, — не призрак и не след от старой пластины, а живой человек, во плоти, в вашем старом сюртуке. — Он выдержал паузу. — Вот я и пришёл спросить вас, Григорий Саввич, по-простому, как мастер мастера: у кого это, по-вашему, хватило духу встать у вас за спиной — и с вашим же лицом?

Черепанов долго молчал. Потом подошёл к окну, постоял, глядя на канал, и, не оборачиваясь, заговорил — глухо, с той неохотой, с какой выговаривают то, о чём двадцать лет молчали.

— Вы, сударь, про карточку спрашиваете, — сказал он. — А карточка эта — не главное. Главное началось после. Три недели как по городу ходит человек, который — я. — Он обернулся, и Вересов увидел, что лицо у него серое, как мартовский лёд на канале. — В позапрошлый четверг в конторе банка «Волков и сыновья» господин с моим лицом учёл вексель на двадцать тысяч под мою подпись. Подпись — моя, я сам слышал: моя, хоть плачь. В пятницу в Английском клубе «я» играл в карты и проиграл полторы тысячи, и полковник, что сидел со мной за столом, готов побожиться, что это был я. В субботу у нотариуса Званцева «я» заверил дарственную, по которой моя же дача в Парголово отходит неведомо кому. И, — он помолчал, сглотнув, — в воскресенье какая-то дама, которую я сроду не знал, прислала мне письмо, где пишет, что я, дескать, был у неё в гостях и «говорил такое, от чего ей стыдно перед людьми». В гостях, сударь! У незнакомой дамы! И всё это — в те самые дни, когда я, по счётам, безвылазно сидел на заводе!

Он замолчал, и в конторе стало слышно, как за стеной, в цеху, тонко и протяжно поёт алмаз, режущий стекло.

Пение это — тонкое, серебряное, без начала и конца — Вересов запомнил на всю жизнь, и после, рассказывая кому-нибудь об этом деле, всякий раз невольно замолкал на этом месте, будто снова слышал, как алмаз, не торопясь, ведёт по стеклу свою бесконечную, точную борозду.

И правда, было в этом пении что-то такое, от чего всё сказанное в тот день в конторе обретало вдруг особую, стеклянную ясность. Алмаз пел, не умолкая, — и Вересову, слушавшему его, начинало казаться, что это не стекло режут, а сама судьба Черепанова, такая же твёрдая, такая же прозрачная и такая же, в сущности, хрупкая, — ведёт по своей кромке неви-

димую, безжалостную линию. По одну сторону этой линии лежало всё, что Григорий Саввич строил тридцать лет: завод, дом, семья, имя. По другую — то, о чём он молчал и что теперь, по этой самой линии, подходило к нему всё ближе. И Вересов, человек, привыкший иметь дело с точным, с измеримым, с тем, что ложится на стекло при правильном свете, — впервые за долгое время не мог отделаться от мысли, что дело это не про деньги и не про подлоги. А про ту самую линию, по которой идёт алмаз. Про то, что рано или поздно она сходится. А тогда, в конторе, он сидел не шевелясь и смотрел на Черепанова, и впервые за всё это дело ему, человеку, привыкшему иметь с людьми дела самые разные, стало жаль этого тяжёлого, прямого купца, который вот уже месяц жил с чужим лицом за спиной и не мог — в этом Вересов был теперь уверен — никому об этом рассказать. Потому что как расскажешь? «В городе ходит второй я» — кто поверит? Поверят разве что в сумасшедший дом, куда, сдаётся, этот самый второй я его и вёл. Не ножом, не пулей — а вот так, исподволь, по векселю, по доверенности, по чужому ночному визиту, подводя человека к черте, за которой он и сам перестанет отличать, где он, а где его двойник. И Вересов, глядя, как Черепанов, отвернувшись к окну, сжимает и разжимает побелевшие пальцы, вдруг понял, что убийство здесь задумано не простое, а с выдумкой: человека хотели не убить, а заменить. А это, как ни крути, страшнее.

— Теперь я вам, сударь, вот что скажу, — заговорил он снова, и голос у него дрогнул. — Я человек не робкий. Я, ежели надобно, и в суд пойду, и с любым векселем разберусь. Но есть вещи, против которых ни суд, ни вексель не помогут. Когда в городе живёт второй я — с моим лицом, с моим голосом, с моей подписью, — то всякий, кому я не угодил, скажет: «А Черепанов-то наш, гляди, умом тронулся, сам не помнит, где был». И поверят. Потому что портрет этот, — он ткнул пальцем в карточку, — всякому показывает: вот он, второй. И я его, выходит, сам с собой на одной карточке. — Он замолчал и прибавил тихо: — Я вам не за тем это говорю, чтобы вы меня жалели. Я вас спрашиваю, как человека, который в этих делах смыслит: кто он, второй? И чего ему от меня надобно?

Спрашивал он это, глядя Вересову прямо в глаза, — и во взгляде его, тяжёлом, красном от бессонницы, стояла не мольба, а требование: этот человек не привык просить и не умел, но и молчать больше не мог, а потому спрашивал так, как спрашивают с подрядчика: отвечай, раз взялся. И Вересов, понимая это, не стал его ни успокаивать, ни обнадеживать, — а сказал то, что думал, и сказал, как умел, коротко: «Кто он — не скажу, покуда сам не увижу. А чего ему надобно — это, Григорий Саввич, и так видать. Не деньги ему нужны и не завод даже. Ему нужно, чтобы вы сами поверили, что вас двое. Потому что человека, который поверил, что его двое, — того уж можно и одного прибрать, и второго подставить, и никто не хватится». Черепанов, выслушав, побледнел ещё пуще, но не перебил, а только кивнул — медленно, тяжело, как кивают люди, которым наконец-то подтвердили то, о чём они сами догадывались, да боялись сказать вслух.

Вересов, не отвечая, взял со стола карточку и снова поднёс её к глазам. Теперь, после всего услышанного, он разглядывал её иначе — не как курьёз, а как документ, и документ этот начинал говорить.

Покуда Черепанов, отвернувшись к окну, выговаривал свою беду, Вересов, не перебивая, всё разглядывал карточку, лежавшую перед ним на сукне, — и с каждым новым словом хозяина она, эта карточка, будто проявлялась заново. Уже не как курьёз, а как документ, и документ этот говорил всё громче. Фигура в дверях, ещё час назад загадочная, теперь обретала плоть: вот он, человек, который учёл вексель, проиграл в клубе, заверял у нотариуса, был у дамы, — и всё это с лицом хозяина, с его голосом, с его подписью. И оттого Вересов, слушая, невольно переводил взгляд с кресла, где сидел на карточке настоящий Черепанов, на дверь, где стоял второй, — как переводят взгляд с негатива на отпечаток, сверяя, где правда, а где её отражение. И всё отчётливее понимал: не отражение это. Это — второй оригинал. А таких, знал он, природа делает не случайно и не в насмешку. Таких делает кровь.

— А вот что, Григорий Саввич, — сказал он наконец, — вы мне лучше расскажите, кто в вашем доме бывает так часто, что знает, где у вас старые сюртуки лежат. Потому что сюртук на вашем двойнике, — он указал на фигуру в дверях, — не нынешнего покроя. Это сюртук старого фасона, такие носили лет десять назад. Стало быть, взял он его не у портного. Взял он его у вас из дому — или получил от кого-то, кто в вашем доме свой.

— Да вы на пуговицы гляньте, — продолжал он, перехватив недоуменный взгляд хозяина и снова поднося карточку к свету. — Видите, обтяжные, сукном обшиты, и сидят они на фалдах так, как сидят только на тех сюртуках, что шили в одну пору и в одном месте — у Галкина на Гороховой, я такие фасоны за версту узнаю. Нынче так не шьют, нынче и Галкина-то, почитай, нет. Стало быть, сюртуку этому лет десять, не меньше, и сшит он был на вас — по мерке, под вашу, Григорий Саввич, спину. А раз он сидит впору и на том, втором, — значит, и спины у вас с ним, выходит, одного покроя. — Вересов отложил карточку и поглядел на хозяина в упор. — Вот вы мне и скажите, как мастер мастеру: у кого ещё на свете была ваша спина и ваше лицо? Брат? Сын? Может, человек, которого вы знали в ту пору, когда носили такие сюртуки? Потому что покойники, Григорий Саввич, чужих сюртуков не носят. Их носят только те, кто умеет в них жить.

В эту минуту дверь приёмной приотворилась, и на пороге, не входя, вырос человек — сухой, лет сорока, с лицом постным и предупредительным, в сюртуке с иголки и при часах с брелоками. Он поклонился хозяину с той особой, приказчицей плавностью, какая бывает у людей, всю жизнь кланяющихся чужим дверям, и сказал негромко:

— Прошу прощения, Григорий Саввич, что мешаю. Там подрядчики приехали, рассказывают, без вас решать не станут. Да и супруга ваша, Анфиса Петровна, беспокоится: к обеду ждёт.

Лука Терентьевич, покуда дядюшка их знакомил, стоял в дверях, не входя, и держался так, как держится человек, привыкший входить в чужие разговоры не весь, а краем — ровно настолько, чтобы его заметили, но не настолько, чтобы о нём спросили. И Вересов, глядя на него, в первые же секунды, как глядят на нового человека при хорошем свете, снял с него мысленный портрет — подробный, резкий, какой не снимешь иным аппаратом: лет сорока, сух, чист, при часах с брелоками, на среднем пальце правой руки — перстень с печаткой, воротничок крахмальный, а вот манжеты — чуть пообтёрты, будто человек этот не столько носит сюртук, сколько донашивает его за кем-то. И ещё одно, неуловимое, но важное: взгляд. Лука Терентьевич смотрел не на Вересова, а мимо, в ту точку, где на столе лежала карточка, — и взгляд этот, быстрый, цепкий, разом всё высчитавший, Вересов узнал бы из тысячи. Так смотрят люди, которые не столько боятся, сколько прикидывают: много ли этот чужой уже знает и скоро ли он уйдёт.

— Знакомьтесь, сударь, — нехотя проговорил Черепанов, — племянник мой, Лука Терентьевич. Правая рука на заводе. — И, заметив, как Вересов и Лука Терентьевич смерили друг друга взглядами — один любопытным, другой насторожённым, — прибавил: — А это, Лука, господин Вересов, фотограф. По нашему делу.

— По нашему делу? — Лука Терентьевич поднял брови, и лицо его изобразило ту почти-тельную тревогу, какая бывает у слуги, узнавшего, что хозяин зовёт доктора. — Что ж... дело наше, конечно, такое, что без чужого ума не обойтись. Только, дядюшка, — он понизил голос и покосился на Вересова, — не приведи бог, огласка выйдет. Вы ж знаете, что про нас уже в городе болтают. Вексель, клуб, дача эта... Не ровён час, и заводом попрекать станут: хозяин, мол, сам не свой. А тут ещё и посторонний...

— Я не посторонний, — спокойно сказал Вересов, поднимаясь. — Я, Лука Терентьевич, из тех посторонних, которые в чужом деле разбираются лучше иных своих. — Он взял карточку, убрал её в конверт и поклонился хозяину. — Я, с вашего позволения, Григорий Саввич, займусь этим делом. И начну с того, что проверю, где и как объявлялся ваш двойник. А вы

пока — сделайте милость, вспомните, кому вы за эти годы отдавали старые сюртуки. И, — он помедлил у двери, — ежели вспомните что-нибудь такое, о чём молчали даже жене, — про брата, про сына, про то, чего не бывает, — так вы мне скажите. Потому что у людей, Григорий Саввич, двойников не бывает. Бывают только те, кого мы когда-то прогнали, да так, что они выросли на одно с нами лицо.

Он произнёс это, уже стоя у двери, и, оборачиваясь, успел поймать то, ради чего, может быть, и пришёл: лицо Луки Терентьевича. На этом лице, постном и почтительном, на одну короткую секунду проступило то, чего племянник, при всём своём искусстве, удержать не сумел, — не страх, не гнев, а та быстрая, бухгалтерская работа ума, с какой человек вдруг осознаёт, что противник его считает лучше, чем он сам. Лука Терентьевич, встретившись с Вересовым глазами, тотчас опустил взгляд и изобразил на лице прежнюю услужливую скорбь, — но было поздно: Вересов уже проявил этот взгляд, как проявляют недодержанный снимок, и знал теперь, что племянник его, Вересова, не то что заметил — а взял на карандаш. Что ж, подумал он, выходя на крыльцо, — пусть берёт. В этой игре, где у одного из игроков чужое лицо, а у другого — чужая память, побеждает не тот, кто прячется, а тот, кто даёт себя заметить. И, сев в сани, он невольно усмехнулся: кажется, господин Лука Терентьевич, — мы с вами друг друга нашли.

И, не дожидаясь ответа, он вышел.

А в санях, уже отъехав, долго молчал, глядя на уплывавший назад забор с надписью «Осторожно. Зеркало», — и всё крутил в голове одно: то, как у племянника Луки Терентьевича, когда он увидел карточку, дрогнула не бровь, а угол рта, — и как он слишком поспешно, слишком услужливо отвёл глаза.

— Макар, — сказал Вересов, не оборачиваясь, — ты не знаешь, отчего это люди, у которых в доме беда, первым делом гонят из него тех, кто эту беду может разглядеть?

— Дык оттого, барин, — охотно отозвался Макар, — что боязно. Чужая правда-то, она ведь как зеркало: в неё глянешь — себя увидишь. А себя, барин, не всякий видеть рад.

— Гляди-ка, — усмехнулся Вересов, — а ты у меня философ. — И, помолчав, прибавил тихо, уже сам себе: — Зеркало... Ну-ну. Поехали к «Волковым». Поглядим, как это человек снимает со счёта двадцать тысяч, которых не клал.

Глава третья. Долги чужого лица

Банкирская контора «Волков и сыновья» помещалась на Невском, в доме с кариатидами, и внутри пахла так, как пахнут все банкирские конторы на свете: лаком, чернилами и той особой, ледяной почтительностью, которая стелется перед клиентом ровно до тех пор, пока клиент не попросит в долг.

Внутри, под кариатидами, было тихо и торжественно, как в церкви, с той лишь разницей, что вместо ладана пахло чернилами, а вместо икон по стенам висели портреты основателей — оба Волковы, старший и средний, глядели на посетителя с одинаковым, каменно-благожелательным выражением людей, которые готовы сохранить ваши деньги, но не ваши тайны. За конторкой, вытянувшись, как солдаты на смотру, стояли письмоводители в нарукавниках; у каждой конторки, в свою очередь, переминались просители — всё больше народ робкий, в шубах с чужого плеча, с бумагами, завёрнутыми в ситцевые платки. И Вересов, окинув всё это одним взглядом, невольно усмехнулся: до чего же, подумал он, похожи все банкирские конторы — что в Петербурге, что в Нижнем, что в самом что ни на есть заграничном Париже. Везде одно: мрамор, чернила и та особая, ледяная вежливость, которая, как иней, лежит на всём, пока у тебя в бумажнике тепло, и мгновенно тает, стоит только ему остыть. Впрочем, нынче бумажник у него, по счастью, был не при чём: он пришёл сюда не просить, а спрашивать, а спрашивающего, как известно, в банке бояться куда больше, чем просящего.

Вересова, впрочем, встретили без почтительности. Стоя в очереди у конторки, он, чтобы не терять времени даром, разглядывал публику, — а публика в банковской конторе, как и везде, где пахнет деньгами, была разборчива до смешного: по шубам, по цепочкам, по тому, как человек кладёт бумаги на конторку, тут за версту угадывали, сколько у него за душой. Вересова, в шубе не первого покроя и с визитной карточкой «С. И. Вересов, светопись», тут же, безо всяких церемоний, отнесли к разряду просителей мелких, — и оттого, когда он заговорил про вексель в двадцать тысяч, дежурный письмоводитель сперва не расслышал, а расслышав — вытаращился так, будто гардеробный чин заговорил по-французски. Вересов на это только усмехнулся: он давно привык, что его ремесло в глазах людей, считающих деньги, стоит где-то между цирюльником и настройщиком роялей, — и умел этим пользоваться. Люди, знал он, охотнее всего проговариваются тем, кого не принимают всерьёз: перед важным господином всякий держит язык за зубами, а перед «фотографом» — болтает, как перед лакеем. И в этом его, Вересова, тихом преимуществе было больше силы, чем в иной визитной карточке с гербом. Господина без бороды, в шубе не первого покроя и с визитной карточкой, на которой значилось всего-то «С. И. Вересов, светопись», в банке приняли за просителя, и дежурный письмоводитель, глядя сквозь него, уже открыл было рот, чтобы сказать обычное «кроме вторника и четверга», — но Вересов, не слушая, положил на конторку визитную карточку пристава Пузырёва, припасённую на такие случаи, и сказал негромко, но так, что услышали все:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.